



### З. Н. ГИППИУС

#### Из дневника журналиста

##### Декаденты и сознание

Бердяев — слишком серьезный писатель, для того чтобы разбирать и оценивать только что вышедшую его книгу «Новое религиозное сознание и общественность» на нескольких страницах<sup>1</sup>. Ей нужно посвятить целую статью. В данный момент мне хочется только отметить интересное отношение декадентов и «декадентской прессы» к Бердяеву и его мыслям. На этом частном примере легко увидеть и общее отношение декадентов к мысли, а может быть, даже их отношение и к искусству.

Что к мысли наши художественные (декадентские) журналы относятся отрицательно — ясно видно из того, что они ее тщательно обегают. Бердяев чужд и враждебен им как раз с этой стороны. «Перевал» предоставил однажды свои страницы самому Бердяеву, но это была статья «все-таки о поле», да и то, в конце концов, оказалось, что статья Бердяева и «Перевал» остались разделенными, как вода и масло<sup>2</sup>. В других журналах еще хуже: говорить о мыслях, о вопросах, затронутых Бердяевым — вовсе запрещается. Не в направлении.

Но случилось однажды летом, что редактор самого «направленского» журнала не остерегся — и проскочила любопытная замечка о Бердяеве и об искусстве. Критик неизвестный и, по всей видимости, прозелит своего «направления». Но тем интереснее. Новообращенные очень горячи и по неопытности, по самому усердию часто обнаруживают то, что более опытные скрывают. Таков и наш критик — г. Эллис из «Весов», только что посвященный, весь горящий «жрец искусства»<sup>3</sup>.

Г. Эллис нарушил молчание, хранимое декадентами об известных движениях мысли вообще, и о Бердяеве в частности. Он напал на Бердяева за его статью о декадентстве и общественности, напечатанную в «Русской мысли» (№ 7).

Обстоятельство это на первый взгляд кажется чрезвычайно мало важным. Неизвестный рецензент в непопулярном журнале написал несколько опрометчивых страничек. Да и стоит ли вообще интересоваться, как к чему относятся наши новейшие поклонники искусства?

А пожалуй, и стоит. Наша художественная литература в последнее время сильно выдвинулась, разделилась на особые течения, направления; каждое из них так или иначе претендует на свою идеологию. Направление, к которому принадлежит г. Эллис как ближайший сотрудник московских «Бесов», считается наиболее серьезным, представители его считают себя самыми «новыми» и очень искренно борются с разными другими литературными теченьями: с так называемыми «мистическими анархистами», оргиастами, с дионисианцами и пр. В их общей защите исторических и культурных устоев есть, конечно, своя, вечная, правда. Но ведь это — их отношение к прошлому. А каков же их взгляд на настоящее и будущее, где их движение, в чем их идеология и ее новизна?

Посмотрим, что открывает нам г. Эллис, этот влюбленный и пылкий рыцарь, сражаясь с Бердяевым. Прежде всего он объявляет истину, что «искусство должно быть свободно». Признаюсь, это меня поразило. Неужели г. Эллис думает, что убил Бердяева и открыл новые горизонты подписчикам «Весов»? Все это знают об искусстве, и Бердяев вместе со всеми; неужели г. Эллис до сих пор этого не знал? Бердяев не говорит, что «искусство свободно», но ведь не говорят же изо дня в день и по всякому поводу о том, что небо голубое, а вода мокрая: это само собой разумеется. И далее г. Эллис тревожит старые призраки, выдвигая утверждение, что искусство есть «самоцель», «искусство для искусства», между тем как Бердяев будто бы делает это божество «средством». Еще немного — и г. Эллис воскресил бы перед нами все животрепещущие вопросы конца прошлого столетия. Неужели с тех пор ничего не произошло, никто ничего не творил и ни о чем не думал, неужели опять вытаскивать полинявшее знамя и теми же словами защищать «свободное искусство — для искусства»?

Нет, дело проще: г. Эллис говорит «мимо» Бердяева; Бердяев об этом, а г. Эллис совсем о другом, о своем.

Если бы г. Эллис не был ослеплен своим «направлением» и если бы направление это не было чуждо мыслям вообще, и бердяевским в частности, — он, конечно, нашел бы у Бердяева другой, более любопытный материал для спора. И не испугался бы, как ребенок, слова «средство», до которого «низводит» Бер-

даев искусство. Ведь не с одной, а с очень многих точек зрения искусство не может быть названо иначе как «средством»; и если это «низводит» искусство, то лишь в глазах прямого идолопоклонника, а их все меньше и меньше. Даже не касаясь соотношений между религией, понятием мирообъемлющим, и искусством, понятием, в мир входящим, — можно установить, что искусство не более и не менее как «средство». Не одно ли оно из «средств» выявления связи личности с миром? Не одно ли оно из средств воплощения реального соприкосновения ноуменального и феноменального в человечестве? Оно — цветок, один из многих цветов земли, которые мы растим; мы пользуемся искусством как *средством*, чтобы двинуть мир дальше, все дальше, к последней цели. Понятие «творчества», которое шире «искусства», — даже оно с правом может быть названо «средством», если только мы остережемся признать целью состояние мира в каждый данный момент, признать цель уже достигнутой, то есть утвердить «бесконечный прогресс», «другую бесконечность». Бердяев, очевидно, не мог остановиться на другой бесконечности, но г. Эллис и до нее не доходит: он просто требует, чтобы вся многообразная тварь мира избрала из своей среды одну и поклонилась ей. Ведь «искусство» — в высшей степени тварь, и с этим вряд ли будет спорить г. Эллис. Тут и обнаруживается глубочайший абсурд всякого идолопоклонства: понятие Бога, каков бы этот Бог ни был, прежде всего понятие творящего в противоположность творимому. Ставя тварь на место Божие, — мы непременно, хотя бы и бессознательно, теряем: или понятие Бога, или понятие твари. То есть, в сущности, одинаково теряем оба понятия, потому что какой же Бог без твари, какая же тварь без Бога?

Но, может быть, впрочем, мы не поняли г. Эллиса? Может быть, он вовсе не требует примата для искусства с подчинением ему всего остального, вплоть до личности, и называет искусство самоцельным лишь в смысле его автономичности, причем готов признать существование рядом и других, столь же автономных и самоцельных явлений? Это было бы лучше, с этой стороны искусство может быть названо и целью; но все-таки отнюдь не только целью, а *и* целью *и* средством. Так же как личность можно, рассматривая ее, признать и целью и средством в одно <и то же> время. Но тогда почему же все-таки возмущаться словом «средство»? Бердяев вполне законно употребил его, говоря об искусстве. Если же г. Эллис, признавая сосуществование многих самоцельных явлений, доводит их автономичность до абсолюта, то есть отрицает единую последнюю

цель, по отношению к которой эти явления и могут быть названы средствами, — он тем самым разрушает всякую реальную и мысленную мировую связь, разрушает всякое понятие о мире в целом.

Таково мирозерцание новых противников Бердяева; надо сознаться, оно сильно сближает их с теми же «мистическими анархистами». Да если искусство никогда, ни в каком соотношении не «средство», — то этим утверждается либо устаревшее, надоевшее, слабофилософское обожествление, обожение искусства, примитивное идолопоклонство бывших «эстетов» и «декадентов», либо не менее произвольное, не менее недодуманное, хотя гораздо более претенциозное мирозерцание «мистического анархизма», разрывающее мир вопреки всякой реальности на части, то есть определенно мир (вместе с искусством) уничтожающее. Все слова о динамике звучат противоречием внутри глубоко статического круга этих идей.

Совершенно так же, как г. Эллис, возражал бы Бердяеву и настоящий «мистический анархист». Так же упрекал бы его в непонимании «свободного искусства» и так же пригрозил бы ему в конце концов «клерикализмом». «Догматизм» и, для усиления действия, «клерикализм» — это излюбленные жупелы нашего времени; ими стараются запугать непокорных. Не могу, впрочем, не заметить, что слово «догматизм» стало у нас и вообще словом очень туманным, понятием очень растяжимым и неопределенным. Выяснением, что такое «догма» и «догматизм», заняты теперь наиболее острые философские умы в Европе. Замечательна, между прочим, книга La Roy «Dogmes et critique»<sup>4</sup>, этого тончайшего и, в смысле клерикализма, коварнейшего философа... Наши правоверные поклонники искусства вроде г. Эллиса или «мистические анархисты» — философией, конечно, не занимаются, да и употребляют слово «догматизм» самым грубым образом, грубо смешивая с «клерикализмом»... Мне только казалось необходимым отметить, что есть действительно опасные слова, значение которых было бы очень важно когда-нибудь выяснить.

Заговорив об опасности слов, хочу перейти прямо к Бердяеву, оставить г. Эллиса. Да и что его еще тревожить? Он открыл нам все, что знал и знает. Во всей его статье кроме вышеприведенных «обличений» Бердяева и утверждений, что «искусство — цель, искусство должно быть свободно», и т. п. — ничего нет. К сознанию, как к бердяевскому «религиозному», так и вообще ко всякому, г. Эллис, подобно своим единомышленникам, не выразил никакого отношения. Отношение же его к ис-

кусству оказалось не только общеизвестным, но даже почти забытым, как забываются картинки детской азбуки. Мы лишь из добросовестности пытались построить на этих банальностях какое-нибудь, хоть ошибочное, мирозерцание. Вероятнее же всего, что у г. Эллиса и у представителей его направления вовсе нет никакого мирозерцания: они считают, что это совершенно лишнее для людей «чистого, истинного искусства».

А Бердяева, при всей моей к нему любви и уважении, мне хочется упрекнуть за неосторожное обращение со словами. Уж не говоря о его терминах «мистический реализм», «неохристианство» и пр. — как опасно излюбленное им слово «теократия»! В утверждении «теократии» Бердяеву грозит опасность внешне слиться, смешаться уже не с кучкой маловедомых миру, захудалых «мистических анархистов» (с которыми он смешивается своим «мистически реализмом») — нет, но с группой людей более значительных и страшных... Мне психологически понятна угроза «клерикализмом», которую г. Эллис бросает Бердяеву в конце своей заметки: г. Эллис видит дело привычно, грубо — понимает его *как все*.

«Теократия» — в точном смысле «Боговластие». Что же такое «Боговластие»? Это значит (в реально-историческом понимании) — *власть людей*, поставленных, помазанных на то Богом. В этом, повторяю, только в этом смысле понималось доселе слово «теократия», и только такую она была показана в истории! Чтобы с правом употреблять это слово в ином значении (как, я думаю, употребляет его Бердяев) — ему нужно бы не десять статей, а десять томов написать о теократии. Да и этого, пожалуй, недостаточно; надо, пожалуй, теократию не доказывать, а показывать; надо ее, новую, сделать такой же реальной, какой была сделана старая в истории.

А пока для этого не пришел срок — нельзя с легкостью под старое слово подставлять новое понятие. Надеяться тут избежать недоразумений — это просто значит не считаться с реальностью, иначе <Бердяев> не отстаивал бы реальности и в мистике.

Мистика! Вот тоже слово, которое теперь повторяет каждый и каждый вкладывает в него свое содержание. Так оно стало обычно, что звучит прямой непонятностью...

Мне кажется (да простит мне философ наивную смелость моих определений), что мистика существует реально лишь тогда, когда она *уже* заключена в реальный круг религии. Так что собственно «мистики» как чего-то отдельного и не существует: есть слово — без понятия, слово, которое нет нужды и употреб-

лять. Бердяев борется, конечно, за настоящую мистику против пустого места. Зачем же он говорит о «мистике», а не прямо только о религии, одно из свойств которой — мистика?

У Бердяева много *тактических ошибок*: он называет новое старым словом «мистика» — словом изжитым, как «теократия». Надо быть смелее: что же делать? в действующей мистике *нет* путей через то, что мы привыкли называть мистикой. Для чего же мы и устанавливаем верхнюю точку, центр, как не для того, чтобы всегда от этого центра искать окружность, идти к окружности, а не наоборот? Увы! они утешающи, наши внешние, скорые словесные соглашения с людьми — но они обманны и никого никуда не двигают, ничего не изменяют, только запутывают; от них надо уметь отказываться.

Можно подумать, однако, что я делаюсь врагом слов и проповедую молчание. Да, я враг легкого отношения к словам; но именно потому, что я — убежденный враг молчания; потому что словам, речи — этому необходимому и великому выявлению личности, этому ее воплощению, ее реализации — я придаю почти несравненное значение. Слова человека — не созерцание и не действие: они стоят на рубеже между созерцанием и действием; от них в зависимости оба: и созерцание, и действие; в этом смысле «от них оправдаешься и от них осудишься». Больше скажу: если выбирать между двумя опасностями — опасностью слов лишних, неосторожных и опасностью молчания — вторая страшнее. Не-бытие всегда страшнее бытия. Но этим я не хочу преуменьшить, затереть всю значительность и первой опасности. Не трусость перед словами я проповедую, но благоговейный страх в сознании их силы и великой важности, страх, который не должен никого останавливать перед риском, удерживать от риска, но должен придавать самому риску бескорыстное и смиренное благородство.

Этот страх, это божественное, непрепобедимое «чувство меры» — всегда есть, между прочим, и у настоящего «художника». Возвращаясь к г. Эллису и декадентам, я хочу, чтобы они вспомнили это — или поняли и осознали. И если такой высший критерий может быть назван законом, если это один из догматов истинного искусства, то не будем ли мы правы, утверждая, что и для искусства нет полной «свободы»? Нет свободы — как беззакония?

